

А.С. Сенявский

ТРАНСФОРМАЦИИ РОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВА В XIX–XX вв. И ЛИЧНОСТНЫЕ МОДЕЛИ ПОВЕДЕНИЯ

Социальная обусловленность индивидуализма/коллективизма

Проблема личностных моделей поведения в истории тесно переплетается с проблемой социальной стратификации. Личность в ее социальных проявлениях, от деятельности в широком смысле до конкретных действий и поведенческих актов, всегда отражает совокупность существующих общественных отношений, и реализует выбор лишь в том диапазоне возможностей, который существует в данном месте в данное время. Социальная стратификация также многомерна и характеризует социальные различия значительных масс людей (и каждого отдельного члена социума) в контексте каждой конкретной общественной модели. Именно от социальной стратификации зависят социальные роли членов конкретного общества, а значит, и основные исторические личностные модели поведения.

Социальная стратификация может быть жесткой и мягкой, инертной и подвижной. Например, сословное общество характеризуется жесткостью социальных ролей, как правило, имеющих наследственный характер. Но в «транзитном» обществе, в некоей нестабильной и переходной ситуации сословность теряет свою жесткость, а революционные эпохи могут временно или окончательно смести сословное разделение людей. Экономическое общество рыночного типа выдвигает материальный статус в качестве основного социально-дифференцирующего, резко повышая социальную мобильность. Однако существует множество переходных и вариативных типов стратификации, которые формируют квазисословность и характеризуются снижением степени социальной мобильности революционного времени (ситуационная мобильность) или трансформационной мобильности (более глубинного, фундаментального и длительного процесса) с повышением степени инерционности.

От закоснения и застоя не застраховано ни одно общество, а вместе с тем и от фиксирования социальных ролей, сформированных кастовостью ранее динамичной модели. Одним из целой совокупности факторов, обусловивших крах СССР, стало превращение к 1970–1980-м гг. советского общества, еще недавно социально мобильного и динамичного, в квазикастовую систему, с частую наследственными социальными ролями в рамках приобретшей корпо-

ративный характер элиты — политической, экономической, идеологической, творческой и т. д.

Современные теории стратификации учитывают многомерность общества и многочисленные его измерения. При этом, безусловно, в любом типе общества в конкретную эпоху есть основное и дополнительное измерения, «срезы».

Так, в России XVIII — начала XX в. основным было сословное измерение, которое поначалу полностью подчиняло себе иные. Крестьяне, абсолютно преобладающее население страны (будь то крепостные, или государственные, или иные), были обречены на определенный род занятий и почти не имели шансов оказаться в составе элиты. Но, во-первых, эта их социальная участь не была абсолютной (они могли, и чем дальше, тем больше, заниматься отходничеством, промыслами, торговлей, немногие наиболее удачливые — переходить в мещанское, купеческое сословие, становиться служителями церкви и т. д.). Во-вторых, постепенно и поэтапно происходило ослабление и размывание сословных ограничений (особенно подорванных реформами Александра II), наконец, соотношение между сословной и, например, имущественной стратификацией изменялось в пользу второй. Однако следует констатировать на протяжении всего XIX в. относительно жесткую привязанность социальных ролей (и соответственно социальных моделей поведения) к сословной стратификации, которая лишь постепенно ослабевала. Дворянину начала XIX в. (несмотря на недавно дарованные «вольности») была, как правило, уготована военная или гражданская служба, даже если он был богатым помещиком; дети священника обычно становились священнослужителями; дети купцов — купцами, а мещане занимались свойственными этому сословию городскими занятиями (или шли в низшие чины гражданской службы). Исключения лишь подтверждают правило.

Вторая половина XIX в. характеризуется гораздо меньшей жесткостью ситуации. Оскудевавшее дворянство начинает заниматься массовыми интеллигентскими профессиями (работать врачами, учителями, инженерами, агрономами и т. п.); дети и внуки богатых купцов получают хорошее образование и нередко изменяют наследственному делу; дети священников становятся атеистами; дети зажиточных крестьян, получившие образование, также часто приобретают еще недавно «благородные» профессии. Для многих выходцев из высших сословий снижение статуса в занятиях является вынужденным из-за ухулившегося материального положения, тогда как для других, напротив, отклонение от традиции — дело свободного выбора. Однако *общая тенденция: в целом в обществе поле личного выбора «моделей поведения» расширялось.*

В этой связи необходимо провести *типологию моделей поведения*, в том числе и в рамках сословного общества. Они могут быть подразделены *по качеству социальной энергетики на пассивные и активные; консервативные и инновационные; адаптивные и преобразующие; созидательные и разрушительные.* Для абсолютного большинства членов общества, всё еще традиционного в своей основе, характерны пассивность, консерватизм и, в лучшем случае, адаптивность. Деревня всегда более пассивна и консервативна, чем город, провинция — чем центр (столичные города), малые города — чем крупные, «глубинка», восток — чем запад России, малообразованные категории населения — чем более образованные,

низшие сословия — чем высшие, и т. д. Это правило, которое, конечно, имеет и свои «ситуационные» исключения.

Крестьянство и в XIX в. оставалось преимущественно «страдательным» сословием, лишь в отдельных эпизодах обращаясь «к топору» для защиты своих интересов (правильно или ложно понимаемых), но в самом начале XX в. запалившим дворянские усадьбы, а в 1917 г. став основной силой, решившей судьбу революции. Дворянство размывалось, раскалывалось, демонстрируя весь спектр моделей поведения — от пассивного следования в фарватере уготованной ему временем и политикой власти участи до творческой адаптации к требованиям индустриализовавшегося и коммерциализовавшегося общества, от народнического служения «униженным и оскорбленным» малыми делами в земствах до разрушительной модели террориста и революционера, порвавшего со своим сословием и классом и идущего «на штурм самодержавия».

Ранее маргинальные модели поведения нередко становились престижными и значимыми в обществе. И если еще в первой половине XIX в. дворянин, пошедший против власти, рассматривался своим сословием как презренный отщепенец, то во второй половине столетия оппозиционность монархии считалась хорошим тоном, а верноподданство — почти неприличным. Крайне неоднородным (и по имущественному состоянию, и по социальным ролям) было немногочисленное купечество, чье влияние, безусловно, росло. И модели поведения оно демонстрировало очень широкого спектра: от консервативных сословных устоев и замкнутости на «деле» и семье (описанное целым рядом писателей) до активного обращения к социальной жизни, проявлявшегося и в благотворительности и меценатстве, и в поддержке революционеров, и в собственном участии в политике.

Общественные трансформации как ключевой фактор расширения индивидуального выбора

Под социальными (общественными) трансформациями можно понимать радикальные изменения в обществе системного порядка, а также на уровне его отдельных «больших подсистем» (экономической, политической, социальной, духовно-идеологической и др.). Существует немало параметров для анализа трансформаций. Они могут быть революционными или эволюционными по форме, но всегда — революционными (контрреволюционными) по существу (радикальность и вектор); насильственными или нет; одномоментными или протяженными во времени; фундаментальными («базисными») или надстроечными; органичными и неорганичными (социокультурным основаниям социума); адекватными и неадекватными задачам социума в конкретно-исторической ситуации и т. д.

Взаимосвязь социального «бытия» и «сознания» далеко не так проста, как представлялось в марксизме, тем более вульгаризированном политическими прагматиками. Конечно же, «бытие» в определенном смысле «определяет сознание». Классическими примерами здесь являются изменения, связанные с транс-

формациями социально-экономических отношений, с динамикой социальной структуры общества, системы расселения и т. д. Городской рабочий мыслит существенно иначе, нежели крестьянин, проживающий в деревне и занятый сельскохозяйственным трудом, а вместе они по своему менталитету весьма отличаются от интеллигента, занятого трудом умственным. Но связь здесь не столь прямолинейна и проста. Например, изменения в менталитете элиты, нередко мало связанные с процессами в «материальном мире», могут предопределять масштабные трансформации радикального характера как в отдельных подсистемах общества, так и общественной системы в целом.

Один из вариантов внешнего фактора в трансформациях — актуальная или даже потенциальная внешняя угроза, исходящая от динамично развивающихся конкурентов на международной арене. Отставание становится фактором вызова, ответом на который оказывается вынужденная трансформация. Примером являются страны второго и третьего «эшелонов модернизации». Трансформация, сутью которой оказывается модернизация, как правило, является успешной, когда она органична социокультурным основам социума.

Социальные процессы выступают по отношению к процессам модернизации в двойственной роли. С одной стороны, они создают социальные возможности и ограничения модернизационного процесса в каждый из исторических моментов, с другой — сами во многом являются продуктом модернизации. Социальная составляющая модернизации проявляется в нескольких аспектах, прежде всего в радикальном изменении соотношения городской и сельской экономик и связанном с этим процессом изменений поселенческой (экистической) структуры общества, элементов социальной структуры населения (город/деревня, распределение населения по городским поселениям разных типов и величины). Это — базовые аспекты урбанизации, являющейся концентрированным выражением социального среза модернизационного процесса.

Урбанизационный переход — исходный в социальном отношении срез модернизационного процесса, создающий «человеческие» предпосылки модернизации, и в то же время — наиболее протяженный процесс в рамках модернизации, поскольку охватывает смену практически всех технологических укладов, проявляющихся в соответствующих изменениях социально-экистической структуры общества. Другим аспектом «социальной модернизации» выступает изменение структуры занятости населения в секторах экономики, определяемых конкретным технологическим этапом модернизации, т. е. доминирующим технологическим укладом. Наконец, она проявляется в изменении уровня образования и культуры населения, в том числе той его составляющей, которая связана с производственной готовностью к новым технологическим поворотам.

Перечисленное выше — тот минимум, который отражает социальную динамику общества, тесно связанную с модернизационным процессом. Здесь обозначены процессы, в совокупности определяющие матрицу социальной среды, являющейся полем проявления индивидуализма и коллективизма: место жительства, сфера занятости, потребность в определенном уровне квалификации и образования, интеллектуальная развитость личности, ее возможности и потребности, ценности, задаваемые средой, и т. д.

Трансформации российского общества в XIX–XX вв. и изменение условий для проявления индивидуализма/ коллективизма

Рассмотрим совокупность общественных трансформаций России в XIX–XX вв. и их влияние на социальную среду проявления антиномии «индивидуализм/коллективизм».

В XIX — начале XX в. Россия представляла собой многонациональную, огромную по территории, с низкой плотностью населения, аграрную страну с абсолютным преобладанием сельских жителей (85 % против 15 % полугородских). На ее бескрайних просторах было не более десятка относительно крупных центров начавшей свое становление индустрии, а также образования, науки и культуры. Поэтому аграрное развитие и его противоречия оказывали сильнейшее воздействие на весь ход исторического развития страны и в конце XIX, и на протяжении всего XX в., несмотря на усиливавшееся вытеснение деревни городом, а во многом и в связи с ним.

Безусловно, в антиномии «индивидуализм/коллективизм» доминирующей веками была коллективистская часть, хотя бы в силу абсолютного преобладания крестьянского общинного «мира» (более 90 % населения состояло из крестьян, а к 1917 г. — более 80 %).

Крестьянская община, выросшая из глубокого Средневековья, веками определяла труд, жизнь, быт, мировоззрение, обычаи, ценности, мораль преобладающей части населения России, низшего и самого массового сословия. С одной стороны, община способствовала выживанию всех членов, была институтом взаимопомощи, особенно в условиях неурожая и голода, защищала своих членов от произвола властей и помещиков, а с другой — строго регламентировала (в том числе через круговую поруку) всю крестьянскую жизнь и даже сознание — ведение хозяйства, уплату ими налогов, труд, быт, нравы, передвижение и т. д. Проводя в жизнь главный принцип — уравнительность, община сковывала инициативу, самостоятельную деятельность крестьянина, подавляла любые проявления незаурядности, возвышения над средним уровнем и в материальном достатке, и в способностях. Как считал П.А. Столыпин, у русского крестьянина — «страсть всё привести к одному уровню», а так как массу нельзя поднять до уровня самого способного, деятельного и умного, то лучшие элементы принижаются до уровня худшего инертного большинства.

Но и другие коренные слои народа (купечество, в значительной части состоявшее из старообрядцев; мещанство абсолютного большинства — кроме Петербурга — городов, имевшее в крестьянстве основной «социальный источник пополнения», ремесленники, рабочие конца XIX — начала XX в., также в большинстве происходившее из крестьян первого-второго поколений) отмечены печатью коллективистских — общинных, артельных и т. п. — установок.

За последние два столетия Россия пережила целый комплекс радикальных трансформаций, осуществлявшихся как эволюционно, так и в результате революционных потрясений. Модернизационные процессы в России были порождены преимущественно не внутренними условиями, а давлением внешних факторов — быстрой модернизацией соседних держав, что было чревато эконо-

мическим и военным отставанием страны, угрожало ее национальной безопасности и самому суверенному существованию. В XIX–XX вв. модернизация России осуществлялась в рамках трех исторических моделей: дореволюционной, советской и постсоветской. Речь не о конкретных витках и стадиях модернизации, а именно о моделях, о подходах. Как в них учитывались закономерности модернизации, т. е. опора на социокультурные основы? И какая из них была более успешной?

Трудно определить начальный рубеж грандиозного процесса трансформации российского общества из сельского состояния в городское. Даже в конце XIX в. горожане составляли лишь около 12 % от всего населения. До второй половины XIX в. процесс шел медленно и эволюционно, в XX в. — форсированно, радикально, скачкообразным и взрывным образом, особенно в 1930–1970-е гг. В России он осуществлялся в контексте грандиозных трансформаций и социальных потрясений: отмены крепостного права Великой реформой 1861 г., становления капитализма и модернизации страны с доминирующими тенденциями ориентации на западные образцы (реформы Витте, Столыпина). Он шел в контексте революций 1905 и 1917 гг. не только как следствия успехов капиталистической модернизации и порожденных ею противоречий, но и как формы сопротивления традиционного общества наступлению либеральных западных ценностей и форм организации жизни.

Великие реформы Александра II стали первым системным толчком к изменению всей совокупности условий жизни общества: отмена крепостной зависимости крестьянства, изменение сословных и правовых институтов, систем местного самоуправления и др. дали толчок становлению гражданского общества. Однако либеральные реформы «провисали» из-за традиционалистской основы общества, преобладающая часть которого состояла из крестьян, объединенных в общины.

После отмены крепостного права российская деревня в основной своей части деградировала из-за консервации агротехнологий, усиливавшегося малоземелья и нищеты. Над страной витала, усиливаясь, идея «великого земельного передела», в деревне тлела «классовая война». «Индустриализм» затрагивал лишь малую часть общества — в крупных городах. Большинству жителей страны он не принес благоденствия, более того, породил «язвы капитализма», вызвал новые формы массовых классовых протестов, социальной ненависти. Таким был внутренний демографический, географический, социально-экономический фон процесса, который можно обозначить как «модернизация», — вынужденного для России прежде всего внешними обстоятельствами. В условиях экспансии Запада ставкой было сохранение национально-государственного суверенитета, а вопрос о том, осуществлять ли модернизацию, не мог быть предметом выбора. Обсуждению подлежали лишь вопросы о содержании, механизмах, темпах, социальной цене, за счет каких социальных категорий будет осуществляться технологический, а значит, и военно-индустриальный прогресс.

В XX в. российская деревня вступила в состоянии острейших противоречий, корни которых — в обстоятельствах освобождения крестьян от крепостной зависимости, а частью и в более глубокой истории. Главным противоречием было несоответствие между быстрым ростом сельского населения и ограниченностью

земельного фонда при относительно медленном росте эффективности аграрного производства в крестьянских хозяйствах. Так, с 1850 по 1910 г. сельское население выросло более чем вдвое, а посевная площадь в основных сельскохозяйственных регионах (черноземный Центр, Среднее Поволжье, Украина) либо незначительно выросла (5–15 %), либо даже несколько сократилась из-за эрозии почв. Урожайность росла медленно (менее чем в 1,5 раза за полвека) и оставалась крайне низкой (6 центнеров с гектара на крестьянских землях и 7 — на помещичьих в конце XIX в.). По подсчетам дореволюционных экономистов, в 1890-е гг. крестьянские хозяйства лишь 10 из 50 губерний европейской России обеспечивали себя хлебом¹. Было только два пути решения проблемы: экстенсивный (расширение запашки) и интенсивный (повышение эффективности, рост урожайности).

Реформа П.А. Столыпина делала ставку «не на убогих и пьяных, а на крепких и сильных»², провозглашала ограничение власти общины, а в перспективе и разрушение ее. Но большинство крестьян выступило против уничтожения общины, за традиционный передел земель, за принцип уравнительности. Консерватизм крестьянства оказался сильнее консерватизма власти. Но не только: крестьяне шестым чувством поняли, что реформа проводится не в их интересах, а вновь, как и в 1861 г., в интересах помещиков, в целях сохранения помещичьего землевладения. Теперь уже — путем раскола и противопоставления одних слоев крестьянства другим и разрушения института, веками осуществлявшего их защиту как сословия, — общины. Запоздавшая столыпинская реформа, вовлекшая в вестернизированную модель модернизации также и российскую деревню, лишь обострила аграрные противоречия, отнюдь не дав того позитивного результата, на который рассчитывала власть и который с конца 1980-х гг. искусственно пытаются преувеличить публицисты и некоторые историки.

Но натяжки в успехах очевидны, а провалы и негативные последствия реформы недооцениваются. Причем крупное помещичье землевладение в целом осталось в неприкосновенности, тогда как для организации рационального хозяйства «новых фермеров» не было достаточных ни земель, ни средств.

Ответом крестьянства на новые эксперименты власти над ним, осознанные как антикрестьянские, стало активное участие в Революции 1917 г., решившее, по сути, судьбу страны на многие десятилетия. В ходе Революции 1917 г., уже после Февраля, а тем более после Октябрьского переворота и Декрета о земле, община поглотила как помещичьи земли, так и выделившиеся ранее из ее состава хутора и отруба. Причем многие «новые фермеры» охотно возвращались в общину.

Революция 1917 г. явилась реакцией отторжения традиционным российским обществом модернизационных процессов, осуществлявшихся на основе антитрадиционных «прозападнических» схем (в том числе — столыпинской реформы, конституционализма и др.). По сути, это была не революция пролетариев, а бунт села — против непонятной мировой войны, против города, ломавшего

¹ Влияние урожая и хлебных цен на некоторые стороны русского народного хозяйства. СПб., 1897. Т. I. С. 6.

² См.: Россия в начале XX в. С. 494.

устой крестьянской жизни, за землю, за сохранение общины, за восстановление традиционализма.

В результате *первой, дореволюционной модернизации*, старую Россию сокрушил революционный взрыв, ставший следствием стечения комплекса объективных условий, закономерных факторов и случайных обстоятельств. Важнейшие из них — неадекватность поведения власти в сложных исторических условиях на протяжении длительного времени, эгоизм ряда социальных сил, в том числе инфантильность российской элиты, особенно утопические настроения либерального течения общественной мысли и политики. Немало способствовали краху страны иллюзии конституционализма в сельской стране с традиционалистским менталитетом, и особенно столыпинщина — попытка насильственного насаждения частной собственности в деревне и разрушения общины.

Столыпинские реформы представляют собой классический вариант либерально-консервативного решения аграрной проблемы, основной смысл которого заключался в сохранении помещичьей части землевладения и в решении земельного вопроса двумя, по сути, экстенсивными путями: 1) переселением части избыточного сельского населения в малозаселенные восточные регионы; 2) путем внутрикрестьянского передела земли с надеждой в длительной перспективе получить класс крепких сельских хозяев. Инструментом служило административное разрушение существовавшей и ранее поддерживаемой государством сельской общины. Казалось, мера была прогрессивной, поскольку уничтожала один из пережитков феодального общества, однако, с одной стороны, она разрушала социальную организацию крестьянства и многовековую форму ведения ими хозяйства, которая выросла исторически и соответствовала опыту выживания в суровых природно-климатических условиях; с другой — эта мера консервировала второй аспект старой системы земельных отношений — помещичье землевладение. При этом не гарантировала экономического прогресса, не снимала проблемы малоземелья, избыточности аграрного населения из-за опережающих темпов демографического прироста над масштабами переселений; наконец, в-третьих, реформа имела скорее негативный социальный эффект, радикально обострив и без того заметную социальную напряженность в деревне. Если бы реформа продолжалась еще лет десять, как и планировалось, то, согласно имитационной модели, доля беднейших дворов выросла бы до 2/3 от общей численности, а богатых — сократилась бы почти вдвое¹. По сути, П.А. Столыпин, видевший смысл своих реформ в установлении спокойствия в государстве, приблизил социальную бурю, предопределил радикальность революционного взрыва 1917 г.

История показывает, что насильственно насаждаемые, неорганичные и несвоевременные реформы отторгаются российским обществом. В лучшем случае они буксуют и не дают того результата, на который рассчитывают реформаторы. В худшем — провоцируют и предельно обостряют социальную напряженность, приводя в конечном счете к социальному взрыву. Так было с идеализируемой сегодня столыпинской реформой, механически насаждавшей чуждый западный, фермерско-хуторской опыт в России. Она не только не дала прогнозируемого социально-экономического результата (за 1906–1909 гг., наиболее активный

¹ См.: Реформы или революция? Россия, 1861–1917. СПб., 1992. С. 259.

период реформы, из общины вышло лишь 9,4 % крестьянских дворов, находившихся в губерниях, вовлеченных в реформу: т. е. крестьяне оказали мощное сопротивление государственной политике по развалу общины). Но главное, реформа настолько обозлила крестьянство, настроила его против власти, что стала одной из глубинных причин Революции 1917 г., которая по сути — крестьянская революция.

В конечном счете процесс насильственных, неорганичных реформ порождает неизбежную реставрацию цивилизационных основ общества при смене «исторических декораций» — политических, идеологических и других «надстроечных» форм. При этом сохраняются социокультурные основания общественной жизни, архетипы массового сознания, причем как социального, так и этнического характера.

Что касается эсеровских идеологов, озвучивавших патриархальные идеи крестьянства («земля — Божья» и т. п.), то они выражали общинную идеологию и уравнительную психологию, которые корнями уходили в глубь веков и не могли быть конструктивными в эпоху индустриальной модернизации. Эсеровская идеология не могла стать основой необходимого модернизационного рывка, что позднее и показало первое советское десятилетие. Таким образом, обе отмеченные выше политические силы, говоря о прогрессе и понимая его каждая по-своему, по сути, звали в прошлое или к консервации настоящего.

Существовало еще одно идейно-политическое течение левой части политического спектра, совмещавшее в себе протестный пафос низов общества с ориентацией на западные, вестернизированные ценности. Однако социальная база их была как раз адекватна утверждавшейся индустриальной эпохе, а политически они оформились раньше других общественных сил и стали в ряд наиболее влиятельных и организованных. Речь — о российской социал-демократии, обладавшей общей концептуально-теоретической платформой, но отличавшейся разной степенью социально-политического радикализма. В отличие от российских либералов, объединивших немногих сторонников из, в свою очередь, весьма немногочисленной образованной части общества, чья политическая деятельность ограничивалась преимущественно «интеллектуальными упражнениями», социал-демократы имели не только развитую теоретическую основу, но и конкретный социальный интерес новых массовых социальных слоев города, за которыми было будущее в процессе индустриальной модернизации. Вместе с тем в масштабе всего общества, остающегося преимущественно сельским и традиционным, эта *непосредственная* социальная база была весьма ограниченной.

Политическое будущее России могло быть только за западниками, но способными опираться на доминировавший традиционализм, обрести массовую социальную опору. Такой идейно-политической силой оказалось радикальное крыло российской социал-демократии, во-первых, понимавшее необходимость и неизбежность наступления индустриальной эпохи, во-вторых, видевшее своей основной социальной опорой класс, порожденный индустриализмом и потому заинтересованный в ускоренном варианте именно индустриального развития, в-третьих, политически гибкое, способное «поступаться принципами» для расширения своей социальной основы, в том числе на «реликтовые» слои крестьянства, для утверждения у власти и осуществления технологического прогресса.

Неадекватность вестернизаторской либеральной модели модернизации доминирующему традиционализму явилась глубинной причиной отторжения реформ (последних — П.А. Столыпина) и — по сути — крестьянской Революции 1917 г.

Национализация земли, а также конфискация и передача помещичьих, монастырских, кулацких земель крестьянским общинам — главный социально-экономический итог Гражданской войны. Большевики, придя к власти, вынуждены были реализовывать преимущественно настроения крестьянской массы. Даже колхозы стали воплощением крестьянской уравнилельной идеологии, и именно им было отдано предпочтение в ситуации выбора путей модернизации деревни — вновь «по-стольпински» или с опорой на общинно-коллективистскую идеологию. Хутора крестьянская масса отвергла еще в 1900-е гг., оказав ожесточенное сопротивление, а колхозы в 1930-е в большинстве своем приняла. Сталинская коллективизация оказалась инструментом форсированной индустриализации на основе создания крупных хозяйств, и большинство крестьян с их общинно-уравнилельными настроениями (в отличие от столыпинских реформ) приняло колхозы как некую преемственную общине форму организации жизни советской деревни. То, что эта форма была названа социалистической, не меняло сути.

Ирония истории в том, что прозападнические силы, спровоцировавшие свержение монархии и социально-политический взрыв, оказались выброшены из России, а другие, маргинальные западники, леворадикальные марксисты проводили в жизнь традиционалистскую модель модернизации. В иных формах, иными методами процессы экономико-отраслевой, поселенческой и социальной трансформации, характеризующие индустриальную модернизацию, были продолжены и в советский период, когда НЭП как период восстановления и относительного застоя сменился курсом на форсированную индустриализацию, осуществляющуюся в огромной степени за счет человеческих и материальных ресурсов деревни. Деревня стала одним из важнейших источников средств и в условиях Великой Отечественной войны, и для послевоенного восстановления разрушенного народного хозяйства, для послевоенного развития индустрии, в том числе ВПК, столь значимого в условиях холодной войны, которая не раз грозила перерасти в «горячую» термоядерную войну.

В результате *второй, советской модернизации*, Россия стала сверхдержавой, второй по экономической, военной, геополитической мощи, сохранив эти позиции почти на полвека. Парадоксальность советской модернизации в том, что она осуществлялась на традиционалистской основе, приобретала формы и идеологическое оформление, созвучное настроениям и ценностям традиционного российского общества, но вела к форсированной трансформации и ломке традиционализма в значительной мере под лозунгами его сохранения.

Успех советской индустриальной модернизации в 1930–1950-е гг. был определен во многом тем, что государственная собственность вполне соответствовала существовавшему, относительно передовому в тот период технологическому укладу, предполагавшему в организации производства (фабрично-заводского, преимущественно конвейерного) большую концентрацию людей, техники, материальных ресурсов. Кроме того, именно государственная собственность позволяла обеспечить мобилизационный форсированный вариант модернизации на основе концентрации ресурсов на ключевых «направлениях прорыва».

К началу 1980-х гг. в основном были решены задачи индустриальной модернизации. Но идеология и политическая система оставались по сути прежними, став тормозом перехода к постиндустриальному обществу. Из действенной в 1920–1950-е гг. идеология превратилась в формальную и ритуальную, из эффективного инструмента модернизации политическая система стала фактором консервации общественных форм.

Планово-директивный механизм по мере разрастания народно-хозяйственного комплекса породил внутри себя и механизмы торможения, прежде всего за счет роста автономности ведомственных структур и абсолютизации их интересов. Законсервированная и с каждым годом устаревавшая отраслевая структура экономики расширенно воспроизводила себя в условиях, когда мировая экономика совершала новые технологические перевороты. В итоге советская экономика наслаивала пласты новых, современных технологических укладов на воспроизводившиеся (нередко расширенно) уклады прошлого или даже позапрошлого уровня. Становление новых технологических укладов почти не затрагивало давно существовавшие производственно-технологические структуры.

Технологическая многоукладность советской экономики вызвала затяжной структурный кризис. Еще один итог застойного периода — перерождение партийно-государственной элиты, уже тяготившейся коммунистической идеологией. Она выражала готовность отбросить догмы для упрочения своих материальных интересов, склонялась к «великому переделу» общественной собственности. Перемены назрели. Вопрос в том, какими они должны и могли быть?

У страны, безусловно, была объективная потребность в очередной, *третьей в XX в. модернизации*, призванной осуществить давно назревшие реформы. К середине 1980-х — началу 1990-х гг. страна уже на полтора-два десятилетия запоздала со структурной перестройкой экономики, происходившей во всем мире. Именно она, а не радикальный передел собственности отвечал интересам и экономическому развитию, и всего общества. Что же случилось в действительности? На деле произошел развал мощной мировой системы и советского государства в частности, затем — передел собственности, падение промышленного производства вдвое, а в секторах высоких технологий — до 90 % и более, массовое обнищание населения, деградация целых социальных слоев, депопуляция, этнические и гражданские войны по большей части периферии постсоветского пространства и т. д. Но была ли модернизация?

Опыт России 1990-х гг. со всей наглядностью показал, что отрыв от социокультурной почвы, так же как и слишком резкие рывки в трансформациях, чреват катастрофой. И одну из решающих ролей здесь сыграла и всё еще играет радикальная и исторически «одномоментная» смена всей системы общественных отношений, включая отношения собственности, навязывание населению сверху новой системы ценностей и отношений.

Изменение социального пространства для индивидуализма/коллективизма

На протяжении почти всего XX в. российское (имперское), а затем и советское общество несло на себе печать крестьянского общинного коллективизма. Миграции из сел в города стали главным источником формирования городского населения с его обычаями, традициями, мировоззрением, поведенческими привычками. Город захлестывали волны крестьянских миграций, которые были

сильны еще и в начале века, но в 1920–1930-е гг. в города хлынули десятки миллионов человек. Лишь в первое десятилетие века в Москву прибыло 700 тыс. человек, а в Петербург — 1 млн выходцев из деревни.

О каком массовом проявлении индивидуализма могла идти речь, если в начале XX в. Россия занимала одно из последних мест в Европе по уровню грамотности населения (грамотных — 21 %, около 75 % сельских жителей и 59,2 % горожан оставались неграмотными). Среди народов окраин грамотных насчитывалось лишь 3,6 % (в западных губерниях процент был значительно выше, чем в губерниях Центральной России и Украины, а к востоку — в Средней Азии, на Северном Кавказе, в Закавказье — этот показатель резко снижался). Но грамотность — это не образование, не культура! Россия — «страна неограниченных возможностей и неограниченного невежества»¹, писал русский просветитель и издатель И.Д. Сытин. Доминантой массового крестьянского (на селе) и пролетарского (в городах) сознания было равенство, причем равенство в нищете. Уровень потребностей людей — крайне низок и примитивен.

Однако в течение XX в. в России произошли радикальные изменения. Если начало столетия — это доминирующая среда села (85 % жителей страны), 1940-е гг. — смешанная сельско-городская среда, то 1980–1990-е — это доминирование городской среды (3/4 жителей — горожане). На протяжении жизни двух-трех поколений произошли радикальные изменения в среде обитания и образе жизни доминирующей части общества, причем большинство людей явилось не только свидетелями, но и участниками этих трансформаций: меняли место жительства, переезжали в города, меняли занятия, образ жизни, судьбу, которая в иных условиях была бы жестко предопределена, и т. д. Основная часть пути России к индустриальному и городскому обществу пройдена в советское время: основано и выросло 2/3 российских городов, горожане из абсолютного меньшинства стали в стране преобладать, большинство населения получило образование — среднее или высшее, преимущественная область занятости переместилась от сельскохозяйственных занятий в индустрию, социальную и культурную сферы.

Этот процесс протекал крайне противоречиво. Российский, а затем в еще большей степени советский город был обречен длительно и мучительно «переваривать» стомиллионную массу населения, несколькими волнами накрывшую город, приносящую свои ценности, обычаи, привычки. Российские города не успевали превращаться в полноценные центры городской цивилизации, да и сам феномен советских городов позволяет говорить о них как о весьма специфическом явлении эпохи форсированной индустриализации. Города становились центрами производства, но им потребовались многие десятилетия на то, чтобы действительно стать центрами культуры. Миллионы обездоленных людей, добровольно или вынужденно покидавших деревни, рвались к новой жизни, но оказались в бараках, затем — коммуналках, которые стали исчезать лишь с 1970-х гг.

Советский коллективизм стал естественным продолжением общинного коллективизма (а не продуктом марксистской идеологии), поскольку его массовые социальные носители были выходцами из сельской общины, преемниками которой в деревне стали колхозы, а в городе — производственные коллективы

¹ Цит. по: Сахаров А.Н. Россия: Народ. Правители. Цивилизация. М., 2004. С. 369.

и коммуналки. На многие десятилетия жители городов превратились в носителей деревенской общинной модели поведения, культурных традиций, менталитета, бытовых установок. Личное растворялось в общественном. Крайняя форма коллективизма (до самозабвения) в современном обществе выражена в словах советской романтической песни: «Жила бы страна родная, и нету других забот».

Однако социальная база для индивидуалистических установок росла по мере успехов индустриальной модернизации. Крестьянство переселялось в города, и в первом-втором поколениях сохраняло традиционалистские установки. Городские коммуналки и дворы становились преемниками и продолжением крестьянских общин. Однако пространство личного выбора расширялось, а с этим процессом происходила и индивидуализация личностного пути и частной жизни.

Не нужно забывать, что советское общество было «транзитным», переходным от традиционного к современному. И абсолютно преобладавший десятилетиями коллективистский тип личности полностью соответствовал стоявшим перед страной задачам: и форсированной индустриализации в крайне тяжелых условиях, и обеспечению внешней безопасности в контексте постоянного военно-политического давления. Менялась материальная база общества, менялся и социум, являвшийся средой, полем выбора, деятельности и проявления личностных моделей поведения. Соотношение между «индивидуалистами» и «коллективистами» в обществе постепенно менялось, хотя и относительно медленно.

К сожалению, социальное нетерпение — историческое свойство российских образованных классов, причем не только властной элиты, но и интеллигенции. Реализм не характерен для российских политиков и идеологов. И прежде всего для российских либералов, которые дважды в XX в. способствовали прерыванию эволюционного развития России, краху государственности в 1917 и 1991 гг., что в конечном счете оборачивалось против самой либеральной идеи и ее утверждения на российской почве. В первый раз подрывная работа против империи привела к революционному прерыванию эволюционировавшей к демократии страны, однако либералам не нравились низкие темпы и недостаточное участие во власти. Именно либералы разных мастей подтачивали российскую государственность на протяжении многих дореволюционных десятилетий, толкали власть на принятие неадекватных решений, привели к демонтажу самодержавного режима. Режима, который в то время всё еще соответствовал исторической, социокультурной, социальной почве, на которой, собственно, и произошло его становление. Но заменен он мог быть в то время — по объективным причинам — отнюдь не демократией, а лишь еще более жестким диктаторским и репрессивным режимом, переросшим в тоталитарную модель. В итоге — приход в результате Февральской революции 1917 г. либералов во власть, развал за несколько месяцев государства, Гражданская война, уничтожение и вытеснение из страны в эмиграцию миллионов — большинства социальных носителей «либеральных ценностей», да и просто культурных слоев общества, установление тоталитарной модели.

История политиков ничему не учит: современный либерализм торит ту же тропу. Провал перестройки, приведшей не к позитивным результатам реформирования, а к краху не только существовавшей системы, но и великой державы, был обусловлен не тем, что изменения происходили медленно, а, напротив,

историческим нетерпением, «большевизмом наоборот», объявлением перестройки революцией, стремлением скачком решить проблемы, накопившиеся десятилетиями. Во второй раз, в 1991 г., либеральная утопия стала фактором развала советского государства, за семь десятилетий осуществившего огромный модернизационный рывок и эволюционировавшего к нормальной демократической модели. Итог — развал СССР с крахом экономики, социальной базы цивилизованного либерализма, горячие точки по окраинам страны, социальная деградация и нестабильность, новые авторитарные тенденции с неясными перспективами развития страны. Благие намерения российских либералов привели Россию в состояние катастрофы с последующим мучительным собиранием земель, наработыванием цивилизованных форм жизни и т. д.

Поворот 1991 г. — глубоко противоречивая трансформация с антитрадиционализмом по форме (по характеру *заявленных* перемен) и антимодернизационным началом по существу. Он представляет собой зеркальное отражение советской эпохи, решавшей антитрадиционалистские модернизаторские задачи (в том числе и с элементами вестернизации) в формах весьма традиционных. На деле либеральные реформы привели к демодернизации страны, подмена действительных ценностей квазиценностями отбросила страну на многие десятилетия (а в чем-то и столетия!) назад.

Постсоветское развитие продемонстрировало сочетание еще большего эгоизма и государственной некомпетентности властной элиты. В идеологии ельцинских реформаторов прямо или косвенно западная модель развития (либеральные ценности, права человека, рынок, демократия) рассматривались как социальный образец для оценки российского развития. Они даже не задались вопросом, а нужно ли России следовать этой модели и возможно ли это; не отдавали себе отчета, что цивилизационная специфика может требовать специфических инструментов модернизации, которые вовсе не равнозначны вестернизации и уж тем более утверждению неолиберализма, отвергаемого даже современным Западом. Но главное, что объективная задача, стоявшая перед страной, — прорыв к новому технологическому витку модернизации, не совпала с эгоистическими целями советской элиты, интересом которой был передел собственности. В целом можно констатировать антимодернизационное начало общественной трансформации, порожденной процессами рубежа 1980–1990-х гг.

Социальная трансформация начала 1990-х гг. означает радикальную смену модели общественного развития, направленную не только на слом собственно коммунистических общественных институтов, но и глубинных форм российской цивилизации. Обозначились тенденции ухудшения «качества» населения по ряду параметров: падает образовательный и квалификационный уровень молодежи, происходит дисквалификация среднего поколения во многих отраслях экономики, резко ухудшились показатели здоровья основной массы населения. Среди демографических процессов: резкое повышение уровня смертности при падении рождаемости, обозначилась общая тенденция депопуляции. Криминализация массового сознания стала угрозой национальной безопасности.

Российское общество во многих своих проявлениях остается «транзитным» и сегодня, и переход, с точки зрения автора, был отнюдь не ускорен, а заторможен, отброшен назад катастрофой 1991 г.

Коллективистские установки оставались значимыми (если не преобладающими) даже в 1990-е гг., после антисоветской революции части городской интеллигенции в союзе с бюрократией, поменявшей власть на приватизацию собственности. Вместе с тем рыночная система привела к существенному расширению поля проявления индивидуалистических моделей поведения. Однако в огромной части это социально-негативные модели (криминалистические: нажива любым путем, включая участие в организованной преступности, в коррупции и т. д.; уход значительной части молодежи в потребительское прожигание жизни; правовой нигилизм и т. п.). Тотальное распространение получила социальная безответственность, причем не только перед своей страной и обществом, но и перед «ближним окружением»: родными, семьей и т. д. Потенциал предпринимательской активности населения, и без того не слишком высокий, оказался задавлен комплексом неблагоприятных факторов — криминалом, бюрократическими препонами и т. д.

Поле коллективного сознания оказалось во многом разрушенным, но социальное пространство для индивидуализма так и не сформировалось. Потому постсоветское общество остается переходным — непонятно куда. И как в любой ситуации неустойчивого состояния (точке бифуркации), возможен совершенно неожиданный поворот в трудно предсказуемом направлении.